

Эдвард Радзинский

Наш Декамерон, или Исповедь сына нашего века



*Часть сборника
Загадки любви (сборник)*



Эдвард Станиславович Радзинский

Наш Декамерон, или

Исповедь сына нашего века

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4436211

Загадки любви / Эдвард Радзинский.: АСТ, Зебра Е; Москва; 2007

ISBN 978-5-17-046790-7, 978-5-9713-5932-6

Аннотация

«О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? О себе.

Самое страшное, когда ощутил: твердеет! Скорлупа проклятая образуется. Вместо души у меня теперь замечательное каменное яйцо. Нет пылкости. Ни в чем. Впрочем, вру. Страсть появляется, когда надо ненавидеть, завидовать, собачиться. Сам любить не можешь и оттого особенно остро ощущаешь, когда тебя любят...»

Содержание

Исповедь пасынка века	4
Конец ознакомительного фрагмента.	66

Эдвард Радзинский

Наш Декамерон

Исповедь пасынка века

Разговор в реанимации:

– А ты чем занимался до смерти, милоч?

– Писал, дедушка, писал...

– Ну и как? Отвечали?

«О чем может говорить порядочный человек с наибольшим удовольствием? О себе».

Самое страшное, когда ощутил: твердеет! Скорлупа проклятая образуется. Вместо души у меня теперь замечательное каменное яйцо. Нет пылкости. Ни в чем. Впрочем, вру. Страсть появляется, когда надо ненавидеть, завидовать, собачиться. Сам любить не можешь и оттого особенно остро ощущаешь, когда тебя любят. Вот почему старики любят пугаться с молоденькими: к костру тянет сукиных детей. Лежит во тьме, уткнувшись в потолок пустыми глазами, ласкает горячее тело холодными пальцами, судорожно вжимается в юную плоть, как в избавление. Ощущает чужую жизнь. И свою смерть. Ведь это тело будет жить, любить, ворочаться в постелях, когда твоя плоть уже на бойню пойдет, на корм червям и листьям. Ах, это каменное яйцо... И шепот из-под

скорлупы... Особенно громкий утречком, в тишине: «Остановите Землю, я хочу слезть!» И *число*... Можно, к примеру, остановку на *завтра* назначить... Нет ничего такого определенного, одно гаерство. Но стоит только подумать: «Завтра...» И все! Воздушный столб теряет вес! Никакого светливого *послезавтра!* Все упростилось!.. Остается только сейчас... Потрясающее состояние!.. Во время самых больших моих жизненных свершений... обладая желанной женщиной и т. д. ... никогда не ощущал себя *сейчас*. Я уже представлял, что будет дальше: что потом ей скажу, что мне ответит, как она уйдет, нужно ли ее провожать... Эти мерзавцы римляне говорили: «Прожил семьдесят – жил семь». Видать, имели в виду, сколько сумел жить *сейчас*. Не тороплюсь, не мечусь, ощущаю свое тело, зад, сидящий в кресле, облупленную кожу кресла, дохлую муху в паутине – все, что вижу только я *сейчас*. И то, что послезавтра никто *так* не увидит. Живу, братцы, честное слово, впервые живу. Пишите эпитафию: «Прожил сорок пять лет, жил – день...»

Сейчас — раннее утро... Сажу в кресле достаточно пожившей на этом свете задницей. Рядом две картонные коробки из-под чешского пива «Пльзень». В этих коробках умещается двадцать бутылок чешского пива. Вот вместо них туда засунута вся моя жизнь. Все дневники, которые я вел... Все мои бесконечные разводы, мои женщины, моя несчастная дочь, мой отец, мои встречи, расставания – вся единственная, неповторимая жизнь просторно уместилась в ко-

робках вместо двадцати бутылок чешского пива. И еще много места осталось!

Начинаю игру... Выдергиваю из картонной коробки, клянусь, наобум, листочек дневника. Читаю, со сладостным интересом читаю о себе!

«197... года, 15 сентября.

Утром – все, как всегда: проснулся чуть свет. Рядом – лицо спящей женщины. Придвинулась. Посапывает. Я рассматриваю ее увядающую кожу. И я уже вижу, ясно вижу, какой она станет старухой!

Утром особенно не хочется жить. Будто ночью хочется. Ночью нельзя ступать босиком по полу. Голые ступни мерзко зудят, содрогается кожа, и рубашка во тьме полыхает электричеством. Потому что копится, копится за день: жить не хочу! Мое вам объявление: жить не хочу. Сейчас, в Древнем Египте, во времена Гильгамеша, в дни Всемирного потопа – из всех человеческих глоток почему-то один вопль: «Не хочу жить!» Но вы только попробуйте отнять у меня эту ненавистную жизнь. Ах, как я цепляться за нее буду, горло перегрызу! И все-таки повторю: «Жить не хочу». Каждому возрасту свои удовольствия. В тридцать пять – особое сладострастие заявлять о сем публично. И особенно хорошо этак на рассвете проснуться в грязном зимнем сумраке, ощущая ломоту будущей старости, лежать без сна, содрогаясь от беспомощного отвращения, и шептать в голос: «Жить не хочу! Не хочу! Не хочу!»

Но жить буду!...»

«Но жить буду!» – Ах, как это звучит *сейчас*... через пятнадцать лет! Но продолжаю, продолжаю чтение.

«Струйка слюны в уголке ее рта течет по вялой коже и соединяется с подушкой. Солнце падает на подушку – и страстно вспыхивает в слюне. Моя жена. Милая сотрудница по браку. «Брак – обмен дурными настроениями днем и такими же запахами ночью». Но это если буквально. А можно символически: огромная свалка из бессмысленных вещей, которые доставали всю жизнь: ее платья, мои пиджаки, ее свитера, мои свитера – они должны были украшать наши тела. Молодые потные тела, затем холеные омытые тела, а теперь уже начинающие разрушаться тела с едким запахом возраста, смешанным с импортным дезодорантом. Ворох джинсов: джинсы разных фасонов, джинсы из всех материалов, джинсы, когда она была молодой, и джинсы теперь, когда она с трудом вталкивает в них свою измятую задницу. В этой куче прожитых туалетов возлежит она и, призывно дрыгая ляжками, клянет меня за неудавшуюся жизнь. Клянет – третьему... Третий? Да, да, в эту нашу кучу тряпья порой заползал некто третий («Я должна была почувствовать себя женщиной»; «Я должна была ему (мне) отомстить»; «Я должна была доказать ему (мне), себе, тебе...»). И все это в перерывах между содроганиями... О, Боже! Любовь? Визг из кучи тряпья и задранные кверху ноги. Да, еще стоны: «О, милый, не

спеши...» Последнее время она не любит употреблять имена – и чтобы не ошибиться: «Не спеши, любимый, не спеши!»

Но все это уже было где-то написано. И много раз. Бравое трио: Гильгамеш – Екклесиаст – Шопенгауэр... и все эти моралисты, адвентисты, протестанты, католики, иезуиты, православные, сионисты, хасидисты... – все это повторяли тысячи и тысячи лет подряд. Все эти мудрые размышления о душе, о плоти, о смерти, о бессмертии, о власти, о свободе, о долге, о равенстве... А двуногая тварь все слышит, все понимает, но... также крадет, убивает, насилует, обманывает! И тоскует. Все время тоскует при этом. Стенает... конечно, если только не удовлетворяет похоть. Нет, двуногое отлично знает, как надо жить, оно создало тысячи книг, как надо жить. Но никогда так жить не будет. И оттого тосковать будет, сладострастно, мучительно, со злобным восторгом, ощущая в себе битву Бога с дьяволом. Но уберите сатану. Как возопит человек! И тогда жить совсем не захочет. Впрочем, и это было сказано. Все было сказано. Миллион раз все было сказано.

И вот тогда – в разгар поучительных моих размышлений – она вдруг сказала, не открывая глаз:

– Нам нужно поговорить.

И уселась на постели, обхватив колени руками.

Потом повернулась ко мне и, глядя на меня своими ясными, идиотски непреклонными глазами, сообщила о замечательном событии, произошедшем с ней на юге.

– Я не собираюсь от тебя ничего скрывать. Кстати, ты виноват сам.

Да, действительно, виноват: не поехал с ней на юг. С детства ненавижу юг, там надо все время жрать фрукты, отчего тебя так пучит: вот-вот взлетишь под потолок, как Карлсон. Кроме того, юг не может состояться хоть без какого-то романчика. Поэтому по ночам изволь обнимать в кустах какую-нибудь потную проходимку. Она будет страстно целовать тебя намазанными губами, так что утром щеку лучше оттирать бензином, а прокушенная губа будет висеть, как стяг в безветрие.

Но она не захотела оценить моего трусливого юмора. Она сказала:

– Боже! Как же мне все это надоело!.. Боже ты мой!
«197... года, 20 сентября.

Сегодня меня грузили... Погрузкой руководил Он, тот удивительный, с которым она испытала на юге духовное и сексуальное единение. Все, что напоминало о нашей совместной жизни: стулья, на которых мы восседали, ложе, где мы создавали нашу дочь, – все эвакуировалось из квартиры. Погрузкой руководил муж (то есть муж-то был еще я, а Он был как бы грядущий муж). Этому мужу из будущего помогал его младший брат – молодой мерзавец из появившихся теперь повсюду книгоманов. Этот книжный сластолюбец так вожделел к каждой моей книге, что становилось просто неприлично. Наше голубое ложе они выволокли на лестнич-

ную клетку, и оно бесстыдно стояло с обнаженным лазоревым матрасом. Я бегал бестолково из комнаты в комнату, почему-то страстно раскрывая двери. В квартире уже возник сильный сквозняк. Мы жили высоко. Открывание последней, балконной, двери удачно завершило дело: поднялся апокалипсический ветер. Он с воем носился по пустым комнатам, а за ветром в безумном беге возникал я.

– Заказанная тобой машина, конечно, не пришла! Он пошел искать другую машину! – сказала она, глядя на меня ненавидящими глазами. (Это всегда: когда меня бросают женщины, они же меня и ненавидят, а когда я их – как они меня любят!)

– Готовься! – сказала она.

Я не знал, как готовиться, и поэтому продолжал бегать под зловещим ветром. Вбежал и Он:

– Достал грузовик. У шофера кончается обед, он просит спешить. Грузимся!

Я посмотрел вниз и увидел этот грузовик. Он достал его, конечно, у цирка. Через два дома от нас был цирк. И в тихие ночи казалось, что мы занимаемся любовью в прериях: рычали тигры, трубили слоны. Бедных животных доставляли в цирк на грузовике в клетках, торчавших из кузова. И теперь этот чудовищный грузовик, на котором возили наших братьев меньших забавлять удачно развившихся приматов, ждал меня внизу. В клетке лежало желтое сено. Я наблюдал сверху, как вынесли лазоревое ложе и установили внутрь

клетки. Теперь это уже была картина Сальвадора Дали: «Голубая кровать среди скошенного луга».

– Быстрее, быстрее! – вопил муж из будущего.

– Он даже не собрал своих бумаг, – мерзковато подвывала моя экс-жена.

Она знала, что мой дневник, писанный по давней, еще школьной, привычке на листках бумаги, лежит на антресолях. И она повелительно указала наверх. И тогда юный книгоман-сластолюбец в жажде дальнейших встреч с книжными раритетами торопливо распахнул верхние дверцы. Этого делать не следовало: на голову ему хлынул поток листов. Вся моя многолетняя жизнь вмиг обрушилась, заплясала по комнатам. Гонимые межпланетным ветром, листы шныряли по всей квартире, взмывали к потолку, бились о люстру, осыпали пол, покрывали раковину и газовую плиту. Путались числа, поступки, годы, разные женщины соединялись друг с другом. То, что я писал о ненависти, продолжалось любовью, и я, восемнадцатилетний, и мои девочки, и мои тридцатилетние женщины – все вместе! Ветер, ветер! Боже милостивый! Светопреставление! Вспомнил! Как во Флоренции было наводнение. А там в каком-то соборе похоронены Донателло, Уго Фосколо, кажется, Данте, а может быть, Микеланджело – короче, масса знаменитых покойников. Так вот, это наводнение устроило с ними веселенькую шутку: все гениальные прахи дружененько всплыли вместе с гробами. И когда вода ушла, их кости возлежали вперемешку на полу.

Так что пришлось весьма волюнтаристски разложить их по гробам. И теперь, возможно, челюсть Уго Фосколо покоится вместе с фалангой пальцев Донателло и тазовой костью Микеланджело. А все вместе это называется Данте. И правильно. Чтоб не забывали. Все прах! Старайся – не старайся, достиг – не достиг: конец этого бесстыдства один...

Именно так, именно в этом духе и поступили с моими дневниками Он, сексуально-духовная мечта моей жены, и его брат, маньяк-кигоман. Они принесли с улицы две коробки из-под пива «Пльзень» (валялись во дворе у гастронома) и затолкали в них всю мою жизнь. Они упирались в мою жизнь коленками, мяли ее руками, а в довершение (чтобы все уместилось в ложе для двадцати пивных бутылок) уселись на нее своими задницами...

Наконец все погрузили в грузовик с клеткой. И добавили меня. И мы поехали прочь от моего дома: моя кровать, вся моя жизнь в коробках из-под пива и я сам, поразительно напоминавший в этот момент Емельяна Пугачева, какого возили в подобной клетке по улицам Москвы. Моя жена почему-то решила прощально помахать мне с балкона. И я тоже усердно махал ей из клетки, после чего окончательно стал похож на злосчастного Емельяна, прощающегося перед казнью с москвичами...»

Этот тексточек – в бодреньком стиле моего знаменитого знакомого Д. и модной тогда литературы из журнала

«Юность» – написал я в 197... году. И ведь нравилось! Ужас!

Но все-таки самое ужасное – ощущение, что все это происходило буквально вчера! Десятилетия как не бывало!

Продолжаю сладостную игру... Выдергиваю новые листики из коробок.

«Февраль 197... года.

Разговаривал с Х. Встретил Н. Любил О.».

А это – тоже февраль, но уже черт знает какого года...

А вот – март: тоже разговаривал... тоже встретил... тоже любил... Ба!

Но, оказывается, – это было двадцать лет назад! И клянусь, опять ощущение: буквально вчера! Все вчера! Год начался... Год прошел... Суббота... Уже январь... Нет... уже декабрь... Еще один год! Жизнь только начинается, и вот уже «земную жизнь пройдя до половины»... Но, оказывается, она опять только начинается! Тридцать пять... Сорок... Сорок пять! И вот уже – «жил-был я»? Нет, оказывается, жизнь опять только начинается! Забавное устройство: мясорубка из дней. Ощущение времени создают только покойники. Почему-то упоминание о смертях тотчас наводит порядок в этом безумии дат.

«197... года, 22 февраля.

Смерть Д.

Звонит телефон. Звонит распроклятый. Три дня после ее ухода у меня был выдернут шнур – переживал... И все-таки

сегодня включил, не выдержал. Старая вера: а вдруг случится... хоть что-нибудь!

Беру трубку. В ответ – мужской голос. Это режиссер. Друг юности. Я зову его Лысый и Отвратительный. У него ядреный череп, мерзейшее лицо. И все это – на коротком мускулистом теле. Гомункулюс.

– Привет! – говорю я и почему-то спрашиваю эпически: – Ну, что делаешь?

– Не знаю, – радостно отвечает он, – может быть, мальчишка, а может быть, девочку... Я звоню тебе третий день подряд. (Я молчу.) Ты пойдешь... сегодня?

– Куда?

Молчит в трубке, потом говорит с изумлением:

– На... похороны.

Я холодею. Кто умер?

Он выдерживает паузу, чтоб было поэффектней. И сообщает:

– Ты что, действительно... не знаешь? Д. повесился в Доме творчества в Голицыне.

– Боже, – говорю я, сразу охрипнув.

Именно так надо говорить в этих случаях. И тут в душе возникает какое-то детское ликование, ну, как в школе: кого-то вызвали к доске, не меня!

– В три панихида в Доме литераторов.

– Я приду. (Я по-прежнему хриплю.) Конечно, приду. – И не забываю прибавить: – Ужас!

Иду мыться. Д. – покойник!.. Д. уже проставили цифирку после загадочной черточки (939–197...). С Д. – все ясно: рассчитались.

Он уже не участник в общем нашем вопле. Отвопился. Я знаю Д... Впрочем, теперь следует употреблять «знал»! – знал с детства...

...Я бегу... бегу... бегу по коридору, – какой огромный был этот коридор, в котором мы играли в жмурки, коридор гигантской коммуналки с тазами и велосипедами, вздернутыми под потолок. И Д. бежит навстречу мне. Д. – с завязанными глазами, но он подсматривает из-под повязки, чтобы вовремя схватить в протянутые руки ту прелестную девочку с бантом, которая так безумно нравится мне и которая потом будет спать с ним!

Проставили цифирку!.. А вот незадолго до проставления цифирки, в августе 197... года... Я еду на машине. Вижу Д.: он идет по улице. В огромных нищих дерматиновых туристских ботинках. Вокруг горла обмотана какая-то тряпка. В вытертом кожаном пальто зобом торчит его живот. Д. – с... животом! Спортсмен, легконогий Ахиллес, омархайямный ловелас, друг Вакха и Венеры – и с животом! Как он умел влюбляться! Он был всегда влюблен: в женщин, в погоду, в дождь, в дерево. «Если бы мне нечего было любить, я любил бы ручку от двери». И вот он бредет, выставив зоб-живот, в своих чудовищных хипповых ботинках. Какой там, к черту, хиппи! Это идет подлинная грязь и одиночество. Это идет

российский писатель в несчастье...

Но если бы вы знали, что такое это несчастье: когда за окном ветер метет белую гадость и надо просыпаться, а горло болит, и рот загажен после попойки, и кто-то давит тебе коленом в грудь. Теперь я тоже знаю...

Я выхожу из ванной. Значит, Д. удавился в Доме творчества... Нашел где! Как он взбирался на стол в этих своих туристских ботинках... отодвинул лампу... и... И его ноги висят над письменным столом. Негнущийся дерматин, развязавшийся шнурок, ком земли отваливается от ботинка, грязь с ботинка падает на «последние строки».

Делаю зарядку... Все-таки пошло – вешаться в Доме творчества, пугая и без того перепуганных писателей. Пошло висеть над собственной рукописью. Со всей прямоотой заявляю: мне не нравится! А почему не сказать об этом прямо? Да, Д. – покойник! И что с того? Кажется, так сказал великий русский писатель: «Что это за профессия такая – покойник, что о них надо говорить только хорошо?»

Нет, я отлично понимаю, уйти из нашей замечательной жизни не так-то просто. Револьвер у нас в лавочке не купишь. Поэтому, конечно, приходится, так сказать, изыскивать варианты. Я вхожу в его положение, но... Но, озирая разнообразные самоубийства последнего десятилетия, обязан отметить: в это дело у нас уже внесено должное разнообра-

разие. К примеру, прозаик Л. решил всех нас покинуть. Проходя по Каменному мосту, перегнулся через перила и птицей – нырнул в Москву-реку! А вот прозаик З. как хорошо собой распорядился! Вышел на балкон кооперативного дома и, продолжая поболтунчики с супругой о суетном, начал клониться за решетку балкона. Бац – и... полетел вниз, а точнее, вверх, «в звезды врезываясь».

А драматург Б.? Тоже привнес свой шарм в эти полеты в вечность. Надо сказать, он был средний драматург, безвестный. Уж никак не сравнить с нашим блестящим Д. Но как умно обошелся с финалом пьесы! Сначала прелестно отужинал в ресторане аэровокзала. Потом вышел в зал ожидания с бутылкой портвейна. В портвейне растворил кучу таблеток снотворного. И комфортно, усевшись в кишачем людьми зале, попивая портвейн «Три семерки», медленно подышал среди топотни, плевков в близстоящую урну и храпа пассажиров. И, отлетая от нас, как он, должно быть, хохотал, слушая все эти объявления о вылетах самолетов. Каким дрянным каламбуром звучали для него слова о задержках рейсов... Он-то знал: его рейс прибудет вовремя!

А история юных операторов из ВГИКа! С каким вкусом распорядились ребята собственной жизнью! Выехали за город, на лоно природы, погуляли вволю, даже любовью насладились. И когда солнце уже начало заходить за горизонт, эти «теплые русские юноши» вошли в зеленую рощицу и развешили себя по деревьям. И висели красными фонариками (все

в красных рубашках) среди веточек, листочков, птичек всяких! Недаром операторы! Но, главное, умно и предусмотрительно: в самом начале жизни, в расцвете – раз, и убежали с планеты.

А вот и высший разряд, это уже классика. Парапсихолог, маленький кореец, вечно окруженный безумными почитательницами. Он занимался вошедшим недавно в моду шаманством: «вливал энергию», лечил, понятно, от всех болезней. Одна из его поклонниц, восторженная филологиня, рассказывала, что, сидя на некотором расстоянии, даже к ней не прикасаясь, он заставил ее испытать всю полноту плотского наслаждения...

И вот этот корейский Калиостро как-то летней ночью подошел к железнодорожному полотну и уложил свою маленькую головку на рельсы. И, глядя в темноту узенькими глазами, ждал, пока она отскочит под колесами поезда...

Но здесь сюжетец только начинается.

На сороковой день мы, его друзья и почитатели, собрались его помянуть. На сороковинах присутствовал самый большой друг корейца, некий альпинист. Он поведал нам интереснейшую историю, произошедшую с нашим героем незадолго до железнодорожного полотна. Оказывается, сей кореец забрался вместе с альпинистом ни выше ни ниже – на один из памирских пиков. Там, привязавшись веревкой за скалу (веревка могла, даже должна была, по словам альпиниста, не выдержать), завис над миром. Сию сцену наш альпинист за-

снял. Он торжественно водрузил фото посреди стола на всеобщее обозрение.

Я взглянул и даже застонал! Кореец висел над пропастью, привязавшись к скале. И скала, нависшая над его тщедушным телом, была страшновато похожа на человеческую морду. Морду, застывшую в явном и злобном хохоте. Скала хохотала, а под ней висел ничего не подозревавший кореец.

И вот тогда-то я и понял его тайну: ах, миляга, ах, умница! Он давно, видать, решил покинуть нашу замечательную планету. Но, как новый человек, задумал сделать это шикарно – напоследок обязательно поиграть со смертью в кошки-мышки. Поэтому во время своих попыток досрочно отбыть с планеты Земля он всегда оставлял себе один, один-единственный шансик выжить. (Говорят, Маяковский играл с одной пулей в семизарядном револьвере, а наш кореец играл как бы с шестью!) Он увеличил коэффициент вероятности своей гибели до волнующего предела. И в том-то был его кайф! Но при этом он был всего лишь временный человек. И не мог знать того, что уже поняла древняя скала: он надоел Природе. Смерть поселилась в нем. И когда он уложил голову на рельсы, чтоб в последний миг – именно в самый-самый... в этом и была сладострастная острота – ее отдернуть, он не смог этого сделать. Потому что игра в смерть слишком увлекает. «Пес, лижущий пилу, пьет свою кровь, но из-за сладости не замечает этого...»

Ну, каково читать это сейчас? Легко было гаерничать? Те-

перь сам... пробуй. А кореец, конечно, классик, классик! Почему? Да потому, что рассматривал это нелегкое и хлопотливое мероприятие, то бишь досрочное отбытие с планеты, как игру, не более! Дескать, даю смерти шесть шансиков. Но и себе один оставляю... И вот присутствие этого последнего шансика избавляло его от этого мерзкого, унижительно-го, вопящего, предсмертного страха! Но вопрос: избавляло ли?

«197... года, 22 февраля, 11 утра.

Пора ехать на панихиду... Позвонил актрисе Л., многолетней любовнице Д. У нее машина, может, захватит. Ах, друг мой Д., тебе-то что, ты вон отчалил, а у меня из-за тебя уже куча хлопот.

– Алло! – голос актрисы Л. в трубке.

Скорбно помолчал, потом назвался.

– А, это ты. – Она засмеялась. – Ишь какое афропе он выкинул! Хочешь выразить сочувствие? Кстати, когда ты умрешь, тебя сожгут или закопают?

Она опять визгливо засмеялась. Тут я понял, что она, как всегда, зверски пьяна.

– Я всех своих друзей уговариваю сжечься. И завещать мне свои прахи. Я вчера час уговаривала одну свою знакомую суку, народную артистку. Все ваши пеплы я высыплю в цветочные горшки и буду из вас растить цветы. А потом всех вас выставлю на подоконник – уже в цветах. Подокон-

ник друзей... Я буду по очереди таскать вас с собой в сумке на концерты. И буду объявлять: «Я тут не одна, дорогие сукины зрители. Со мной вместе пришла на концерт в сумке народная артистка...» (Тут она начала кашлять в трубку и хрипеть. Я понял: ей не удалось заплакать.)

– Я еду на панихиду.

– А я никуда не еду, провались вы все...

Наконец она заплакала, все-таки сумела!

– Он был мальчик. Он так и остался среди вас, сучьих детей, мальчиком...

Неточная фраза. Он всегда был первым, даже когда был мальчиком.

...Наше коммунальное детство, девять семей в девяти комнатах, одна уборная. О уборная, наша утренняя мечта, наша утренняя забота и предмет семейных ссор! Мы, дети, получаем право на уборную только после взрослых. Все взрослые жильцы нашей квартиры делятся на две категории: «сидит долго» и «сходу, по-военному». Например: «Борис Николаевич бузовый человек и такой копуша – уж если зашел...»; «Михаил Филиппович отличный мужик – прямо молния!».

Но вот взрослые «сходили». И начинается наше ребячье царство. Нам выдают семейные сиденья (у нас квартира интеллигентов, каждая семья имеет собственное сиденье из гигиенических соображений). И, надев на выи семейные сиденья, молодые запряженные лошадки, мы мчимся к уборной

занимать очередь. Д. всегда оказывался впереди. С сиденьем на шее он уже стоит – первый! – любезничая с голубоглазым ангелом – Любой Козловой десяти лет. Она в очереди вторая, Козлова, влюбленная в Д. В своей комнате, прижавшись ухом к двери (ревнивое мое воображение), она дожидалась его топота по коридору. Как он несся – могучий и великолепный! А я попевал только третьим... Мы стоим в очереди, изнемогая... Изнемогая и от любви тоже: она к нему, а я к ней. А в уборной сидит профессор Ф. Это его время. Профессору позже всех на работу, и он добровольно (интеллигент-растяпа) вызвался быть последним. Он читает в туалете французский словарь Ларусса и, насилуя свой жесткий интеллигентский желудок, слушает наши разговоры и нетерпеливое перестукивание сильных ног. Как мы жаждем опорожнить наши детские мочевые пузыри!

Так мы топчемся в начале жизни, маленькие лошадки у барьера, запряженные сиденьями для стульчака. Запомните: он – впереди.

И всегда он будет впереди, во всех наших бесконечных очередях: он первым познает женщину (прелестный херувим, девочка Люба из рабочей династии Козловых; в четырнадцать лет они будут любить друг друга в котельной, а я буду стоять на «атасе» и сторожить их страсть). Он первым поступит в Литинститут (и только через долгие три года поступлю туда я). Он выиграет много других состязаний, и он узнает славу... И вот он первым заполняет цифирку по-

сле финишной черточки (родился тогда-то – скончался... – итог!). О торопливый Д. – даже в смерти ты первый. Впрочем, и эту фразу уже кто-то сказал!

...Школа, пятый класс. В жизни нашей страны и всех стран произошло самое страшное. Самое невероятное. Заболел Он. Великий Кормчий всех народов. Лучший Друг всех нас – пионеров и школьников, рабочих и крестьян, композиторов, шахматистов и футболистов, органистов и византистов. Он заболел! Каждое утро все газеты печатали бюллетени о Его здоровье. С некоторым смущением читаем мы сведения о количестве лейкоцитов в Его крови, о Его пульсе, функционировании органов Его пищеварения. И теперь в утренней очереди в уборную меня посещают кошунственные мысли: неужели Он, как и профессор Ф., в свой час... Ужас! А потом... Мы катаемся на катке под бравурные мелодии наших любимых маршей и песен. И застываем на льду в скорбном молчании: торжественный голос Левитана читает очередной бюллетень. Замерзая под ледяным ветром, мы не смеем двинуться; мы обледенели, но выслушиваем драгоценные сведения об анализах Его мочи... И... свершилось! Свершилось! То, что казалось святотатством! И не потекли реки вспять, и взошло солнце на небе... Он умер, как умирают все!

Нас выстроили в школьном коридоре. Я стараюсь плакать от горя, тру ненавистные глаза, но они, проклятые, сухие, а мои товарищи рыдают навзрыд. Проклинающая предательские

глаза, я жму, жму непослушные веки. И вот в это время Д., бессменный редактор нашей школьной стенгазеты, вывешивает на стену траурное великолепие: газета! Никто еще не успел, ни один класс! Мы первые! Стоим, в скорбном молчании, рассматриваем тщательно вырисованные черные рамки, венки из лавровых листьев вокруг Его портретов: Он – с добрыми глазами, Он – с трубкой, Он – с детьми. И вдруг нас посещает некая мысль. Она является у всех одновременно – ужасающая мысль: когда же Д. успел? Я отлично знаю, что всего четыре часа назад в коридоре, стоя в очереди с семейным сиденьем на шее, он услышал Великую Скорбную Весть. Но когда же клеились эти фотографии? Когда кропотливо рисовались рамки, золотые листочки? Когда писались прекрасные слова нашей скорби о Нем? Мысль чудовищна: Д. делал газету о Его смерти, когда Солнце нашей планеты... еще сияло! Еще здравствовало?! Когда я... и все прогрессивное человечество ожидали неминуемой победы над болезнью! И тут, как по команде, мы, ученики и учителя, молча бежим в разные стороны... Прочь, прочь от страшной газеты!

Почему он это сделал? Неужели уже тогда он был свободен от глупости? Ведь он всегда стоял первым в очереди.

А потом я следил за его звездой, за его кометой... Он что-то написал, потом все это читали (я тогда не прочел, принципиально!). А потом я услышал первый раз о нем: «Талантлив!» И с тех пор, до самой его смерти, все произносили имя

Д. с прибавлением этого бессмысленного слова.

Д., певец мальчиков и девочек шестидесятых! Мальчи-ки-девочки, которые вдруг узнали, что Солнце нашей планеты и Величайший Гений всех времен и народов на самом деле был... (Значит, можно обо всем говорить!) Был! И полезли из толпы головы новых поэтов. Мальчи-киремарчики и девочки-лолло-бриджиточки навсегда прощались со страхом. На балу! На балу!.. Хемингуэй, чувиха, «старик», джазуха! Как широк мир, как ходят в нем ветры, глядите: я, дитя человеческое, – на балу! На балу! На балу!.. О, если бы кто-нибудь вышел тогда вперед и внятно прочел вслух наше стихотворение. Наше вечное стихотворение: «Любви, надежды, тихой славы недолго тешил нас обман». Ох, мальчишки-девочки! Бабушки-дедушки? Быстро, да? А он висит сегодня, ваш певец, в дерматиновых ботинках, с выпавшим животом. Ради бога, сыграйте его любимые джазовые мелодии из шестидесятых: Дизи Гиллесли, Рой Портер, Алеша Козлов и черт в ступе. Где вы, стилиги шестидесятых, несостоявшиеся джазовые гении, где вы, спившиеся, ссучившиеся? Все прошло? Старые девочки-бабушки давно все забыли? И старые джазисты-дедушки после пьяных кабаков храпят, уткнувшись лысыми головами в подушку. Как в стенку гроба...

Самое интересное: я почти любил Д., когда он умер... И вообще забавно: вот листочек: Д. – умер... поминки... А вот листочек: Д. живой. Наша встреча, его рассказы... Листочки валяются на ковре вперемешку – живой Д., мертвец Д. Иг-

ра! А вот появился из картонной коробки совсем какой-то странный лист – «Меню ресторана «Савой» 1876 года». Я нашел это чудо-юдо в бумагах отца. Большой лист, украшенный двуглавым орлом в окружении рогов изобилия. Отец, почему столько лет хранится в нашем семейном архиве это меню? И что произошло в ресторане «Савой» в 1876 году? Может быть, мой прадед отмечал свою свадьбу... чтобы сразу после сытного обеда зачать моего деда?.. И тем самым проложить путь ко мне – тупиковой ветви эволюции?.. А может, ни почему? Как все в этой жизни... Просто жаль было выбрасывать красивый лист.

«Суп форелевый... Артишоки... Горячее сладкое... Пулярки...» Экзотические названия, навеки исчезнувшие из нашего быта. Когда-то я мечтал устроить себе в день пятидесятилетия вот такой старорежимный обед. Не довелось! Зато моя дочь опять найдет – уже в моих бумагах – это меню и, конечно же, сохранит еще на пол столетия этот глупый красивый лист...

Листы, листики... А вот – 196... год! Боже мой – 196... год!

«196... год, 5 мая.

Встретил Д... Он шел своей подпрыгивающей (привычка всех недорослых мужчин) походкой. Как красит успех человека! Он маленький, конопатый... Я высокий, белокожий, я красивый... А сейчас мы кажемся наоборот. Некая спортивность появилась во всей его фигуре. Он похудел, поджарый.

Ахиллес, да и только! Носит великолепную модную курточку. И весь в опьянении, в безумии своих успехов... Естественно, говорит только о себе:

– Ад, старик! Мотаюсь по съемкам. Снимают сразу два сценария – в разных концах Союза. (Бедный, как тебе трудно! Насколько легче мне: ничего у меня не снимают ни в одном конце Союза. И вряд ли когда-нибудь будут снимать.) Ты был в Прикарпатье? (Я не был в Прикарпатье. Я мало где был. Я работаю в заводской многотиражке. У меня нет денег на поездку в Прикарпатье. И вообще я не люблю ездить. Я трудно схожусь с людьми, общение для меня мучительно. Ад. – обожает общаться, он всюду свой.)

И он говорит, говорит, жестикулируя. Люди оборачиваются. Он весь возбуждение. Азарт. Азарт успеха! Его рассказ:

– Разбудили на рассвете. Снежная вершина древней горы светится во тьме фиолетовым. Гора уже видит солнце. Холод пробирает до костей. Олени бежали по косогору. Эта охота называлась выбраковкой стада. Стадо бежит одной черной массой на фоне светящейся горы. Отставшие будто чувствуют, стараются нагнать... последним усилием сомкнуться со всеми. Но постепенно единое темное разбивалось. И между – просвечивает гора... И вот уже отчетливо различимы *они*. Они уже не все, они уже последние, они – *отдельно!* Отстали от стада. Выстрелы. Убивали последних пятерых, убивали самых слабых. Подошел. В грязном рассвете – олень на снегу. Дикая вода и ветра от оленьей шкуры. По страш-

ной шерсти полз клещ. Было холодно. Егерь распорол живот оленя и засунул руки в теплую кровь...

Странно было услышать от него: «Отстали от стада...» Уж кто-кто, а он – в стаде! Певец стада мальчиков и девочек... По мне, самое консервативное – это молодежь. Ни хрена не пережили... и обожают моду, то есть обожают: *как все*. И эти ритуальные залы, где они все – тысячным стадом – предаются ликованию, глядя на вопящего идола...

АД. продолжает:

– Потом я поехал на Каспий. Самолет – и вот уже после гор остров в Каспийском море. Постоянная смена... Ах, какое это счастье, старик! На острове жил волк... Последний волк. Всех волков истребили, а этого оставили и прозвали «недобиток». Умный волк – он знал табу. И он согласился питаться только рыбой. В обмен на жизнь. Каждое утро мимо моего домика на выселках волк крался к меляку. Заходил в воду по щиколотку и быстрым ударом лапы выбрасывал рыбу на берег, на песок. А потом раздирал рыбу, чтобы кровь была. И весь песок был залит холодной рыбьей кровью. А потом, после своей постыдной трапезы, всегда выл. Волк, который согласился не быть волком, чтобы выжить. Его берлога была на кладбище кораблей. Это были старые суда, вытасченные на берег. Встречались даже парусники. Корабли стояли на песке, и гудели, стонали под ветром их ненужные мачты...

Я вернулся домой. И добросовестно записывал рассказ Д.

Сочинил ли он все это? Уж очень красиво! Сейчас за полночь... Я окончил записывать. Странное дело: все это стало моим. Фиолетовая гора... остров... Ветер несет песок... И волк... И ночь...

И отчетливо я видел, как ночью...

Ночью над островом раскрывалось небо. И все звезды, которые были в мире, стояли над домами. И я, молодой и счастливый, чувствуя тайну и радуясь, что непременно узнаю эту тайну, лежу в стоге сена у крыльца и смотрю на эти звезды. И знаю, что напишу, напишу об этом...»

Но об этом, как и о многом другом, я не написал. Прожить столько лет и...

Меня моют в ванне, зажали рукой глаза, чтоб не попало мыло, я вырываюсь из чьих-то сильных рук и вижу, как блестит моя мокрая рука в свете лампы в ванной... Мои детские болезни, вечно обвязанное горло... Греховные мечтания, когда потушили лампу... Нагретый солнцем пол террасы, и я шагаю сильными детскими ножками... Блики солнца, я бегу с сачком... Блики сквозь листву... Мои тайные детские пороки... Освещенные розовым верхушки сосен, девочка... Ее округлые небитые коленки... ноги в голубеньких прожилках, тяжело и грешно лежащие под юбочкой... Поцелуй во тьме дачи... И как пришел потом в лес и не смог почувствовать прежней безгрешной радости... И тот сладкий страх, и та тайна... И как детским сознанием я постиг, что уже не

смогу любить лес, как прежде, ибо уже грешник... Смерть няни... И новая ужасная мысль: я тоже умру! И юность, и девочка-женщина, и грозовое небо... И нырки птиц в раскрытом окне, и запах дождя... И все это было со мной, что-бы... Если в день пятидесятилетия я сыграю в Игру, от меня останутся только вот эти жалкие странички... Только они станут подтверждением, что я был.

Пол покрыт листочками... Сладчайшая, горчайшая игра: итоги! А я все роюсь в своей жизни. В мусоре своей жизни. Зачем я ищу «все о Д.»? Зачем? В наших отношениях с ним был хоть какой-то сюжет... А вообще, нужно признаться, жизнь моя была тосклива и бессюжетна. Выдергиваю, выдергиваю листочки... Не то!.. Не то!.. В основном попадают-ся встречи с женщинами.

«Вторник, 16. 00.

Звонила Х. Плакала. Просила, чтобы я ей больше не звонил. Из-за меня не может жить (с мужем, любовником, женихом и т. д.). Среда, 17. 30.

Опять звонила Х., просила не обращать внимания на то, что наговорила во вторник. «Мы помирились, да? Помирились?» (Ее слова.) Четверг. Вечер.

Встреча с Х. «Это так прекрасно и так ненужно». (Ее слова.)»

Вот на эти глупости и ушла жизнь. Я все время двигался от новой женщины к следующей. Мне казалось, что я их завоевывал. На самом деле они передавали меня как эстафету.

Лабиринт из женских тел, где в самом конце у выхода весело ждала меня (обычная сентенция) дама с косой (и каламбур к тому же).

Есть милый грузинский анекдот (кстати, и его тоже рассказал когда-то Д.). Два древних грузинских старика вспоминают:

– Помнишь, как мы бегали с тобой за девчонками?

– Помню, помню, – вздыхает другой. – Только не помню – зачем!

«196... года, 1 июня.

Встретил Д. на улице... Он спросил – сразу, без «здравствуйте»:

– Ну... как?

Я глядел на него невинными, непонимающими глазами: он даже поперхнулся. И смутился. Клянусь, он смутился. Потом сказал по-детски изумленно:

– Ты что, старичок, не читал повестуху?!

Конечно, я читал! Как тут не прочесть, если буквально повсюду: в вагонах метро, в электричках – мальчики-девочки укрывались журналами «Юность» с его повестью (пardon, «повестухой» – лучше не выдумать!). Если во всех домах болтают о ней. Просто я не смог отказать себе в удовольствии подразнить его. Они все помешаны на славе, они все тщеславны – новые наши гении! Кто-то рассказывал, как молодая знаменитость, поэт У., набирает наобум номера те-

лефонов и спрашивает поднявшего трубку: читал ли он поэта У.? И если кто-то не читал, поэт У. буквально заболевает... И зря! Этот «властитель дум» может спать спокойно: они (молодые) его читают! Вот Блока не читают, Тютчева точно не читают, а поэта У. читают... Так же как все они читают «повестуху» моего друга Д.

«Повестуха» называется «Любовь» и написана, как выразились бы ее герои, «с юморочком»... Во всяком случае, если нынче в тишине вагонов электричек раздается молодой здоровый гогот, сие означает: читают «Любовь». И мало того, что сами сдыхают от радости, еще соседям вслух повторяют избранные остроты, делятся, так сказать!

О «повестухе». Герои, конечно, называют друг друга «стариками» и, конечно, разговаривают на невозможном, чудовищном сленге. Ни один нормальный человек, клянусь, никогда так не говорит. Но его читателям (его стаду) нравится: они хотели бы вот так разговаривать! В этом, видите ли, протест! Протест против благопристойного языка Вашей литературы. Хотя зачем уродовать и без того изуродованный наш язык? Но это вызов! И вся повесть – сплошной вызов! Эпатаж! Как род литературы! Герой «повестухи», конечно, физики, конечно, очень рассерженный молодой физик (а-ля Сэлинджер – Хемингуэй – Ремарк – Осборн). Этот «старик» встречает, конечно, в молодежном кафе «старуху», ясное дело, фантастическую красавицу. Во время беседы он лихо обольщает «чувиху» своим «юморочком». После чего в

восторге друг от друга они прямиком дуют в постель. Еще один вызов – просто шаровая молния в древо нашей бедной, нашей постной литературы. Ох, уж эти шаровые молнии! Шаровые молнии в конфетных обертках! Хотя, сознаюсь, во второй части начиналось что-то похожее на литературу. Их первая, такая поспешная ночь вдруг обрушивалась – внезапной, странной, изуродованной любовью. Любовь-возмездие... Возникла некая грустная, благородная мелодия... Юноша и Девушка. Вечный поединок. Безысходный поединок... И паясничал уже рок – Смерть!

А может, я все это выдумал – насчет второй части «повестухи»? Вообще мне трудно судить. Я так мечтал написать на тот же сюжет. Даже начал, но... Но!.. На бумаге мне все кажется пошлым или сентиментальным. И конечно, бросил. Не посмел... А он – посмел. Бойко, площадно, в стаде! Ох и смелые ребята, наши новые гении!

Хочу попрощаться с Д., но он... Уже открыл свой новенький портфель (с улыбкой я отметил: солидная пачка журналов «Юность»; вот так ходит – и дарит). Он размашисто надписал мне журнал – прямо на своей фотографии: «Доброму старику – от разгневанного старика».

«Добрый старик», то есть я, посмотрел на его фото:
– Послушай, а это кто?

– Я, – неловко засмеялся «разгневанный старик».

На фото был изображен некий строгий красавец. Чем-то похожий... на меня! Клянусь!

– Понимаешь, – объяснил «разгневанный старик», – они до того меня отретушировали... Но мне нравится! У этой повести и должен быть такой автор...

Он захохотал – во все горло, беззастенчиво, жизнерадостно, площадно. Хохотал, как писал, – на всю улицу, на все стадо!

Вернулся домой и рассматриваю фото. Очень смешно, но это я! Похож! И все-таки – какое скучное, темное мое нынешнее существование!...»

«196... год, 5 июня.

Вчера вечером на улице познакомился с девушкой. Очень глупой и, естественно, очень красивой (фразу можно писать наоборот). Люблю знакомиться на улицах. Где знакомились римские сенаторы у Овидия? На улице. Ах, эта улица. На улице проворовавшийся торгаш может представиться журналистом-международником, а работник бани объявить себя знаменитым писателем. На улице могу забыть наконец про жалкую свою заводскую газетенку. Здесь человек тот, кем он мечтал бы стать. Улица – это астральное место, наконец-то пойманная жар-птица! Короче, поговорив с девицей пять минут, сразу почувствовал: она играет. Точнее, в кого-то играет. И понял: она играла в героиню его повести. Она говорила ее пошлыми словами и так же мерзко хохотала все время. Впрочем, играть в нее нетрудно. Она так же глупа и, воздадим должное, так же красива. Теперь самое смешное.

В ее сумочке, конечно же, лежал до дыр зачитанный, смятый журнал «Юность». Со следами косметики на страницах (слезы!).

Я торжественно открыл журнал. Показал очумевшей девице «свою» фотографию и спросил, величественно улыбаясь: «Вам не кажется, что он на кого-то похож?» После чего, не дав ей опомниться, надписал размашисто на экземпляре: «Красавице старухе – от доброго старика». Излишне говорить, что все у нас с ней состоялось в ту же ночь (она старательно следовала сюжету любимой повести). Так я стал им... Клянусь, утром я решил ей все рассказать. И ничего, конечно, не рассказал. Поживем – увидим...»

«196... года, 7 августа.

Сегодня закончилась часть моей жизни. Началась другая! Клянусь! Прошло два месяца! Целых два месяца! Всего два месяца – но как... И как все изменилось! Изменилось! Изменилось! Сегодня читал свою статью. И где?! Однако все по порядку...

По порядку. Я давно чувствовал: где-то в лучезарно-далеком там рождается импульс... Поднимается могучий ветер... Смею думать, это будет ураган. Я понял: все эти «старрики», юные бунтари, эпатажные злые говоруны – все они, смеющие ворчать на совершеннейшее из обществ... На свалку их! С фрондерством будет покончено. Говорю с уверенностью! В ближайшем будущем. А дальше? Дальше – тишина!..

Короче, Д. со своей повестью сейчас просто создан был для разносной статьи... И написал ее... да, я! И вот вчера – появилась! И где! Меня, ничтожного литсотрудника многотиражной газеты, напечатали в авторитетнейшем органе!.. Да, я потерял юмор! Пусть! Я счастлив! Но после стольких лет пребывания в «нетях»! Самое смешное: мало кто понимает значение моей статьи. Они думают, глупцы, что сие просто статья. Очередная статья «против» Д... А потом скоро будет статья «за» Д... Не будет! В том-то и дело!

«До свидания, мальчики!» Точнее, прощайте! У Ибсена есть фраза: «Счастливый – это тот, на кого веяния времени нисходят сами собой». Неужели я?.. Кстати, а статья получилась! «Добрый старик» отлично высек «разгневанного старика»! «Ищите женщину!» Да, она очень помогла мне написать эту статью... Может быть, без нее я и не решился бы. Я столько задумывал... и столько не решался! Но все эти два месяца я спал с ней под именем Д. Она изводила меня цитатами из его повести. И я терпел! Два месяца! Самое интересное наступило в конце. Это простенькое существо погибало от двойственности: она уже не хотела быть похожей на мою (его) героиню. Нет, она безумно ее ревновала ко мне (к нему). В это время, клянусь, мне несложно было все ей рассказать и заменить Д. собою! Но я слишком ее ненавидел – за два месяца восторгов по его поводу. Ненавидел... и любил! Любил, черт побери! И с каким восторгом, вдохновением, опьянением – писал статью против его (моей) повести. И се-

годня, когда ее напечатали, с трудом дожил, пока она пришла ко мне! И я разложил газету перед нею. Молча. Она с испуганным изумлением, уже чувствуя, что там нечто страшное, начала читать. А я смотрел, как она читает. Удивление... испуг... непонимание... ярость... И тогда, закольцовывая сюжет, я с удовольствием объяснил ей все! Потом она валялась на кровати, тело ее содрогалось... А я... Я безумно любил ее в этот миг. И ненавидел... за ее отчаяние, за слезы... Она оплакивала его! Я знал, что нужно было сделать, и клянусь – она стала бы моей рабой. Но я не сделал. Я просто засмеялся и выгнал ее. Я не смогу ей простить...»

«25 августа.

Браво! Вчера опубликовали еще две мои статьи. Одну о театре – о постановке пьесы по повести Д. «Любовь» в Театре Ленинского комсомола.

Толпа. Билетики спрашивают. Модный, модный писатель Д... Меня встречали у входа: боятся! Молоденькая заведующая литературной частью – очень общительная и очень бойкая (прежде это определили бы словом «наглая»). Сразу противно положила руку мне на плечо (терпеть не могу некрасивых женщин). И сказала заговорщически:

– А вы совсем молодой!..

– Это вас удивляет?

– Но вы так разнесли прозу молодых и повесть Д....

– А может быть, просто я *другой* молодой!

В ответ она засмеялась и уже совсем амикошонски втолк-

нула меня в директорскую ложу. Дверь в ложу захлопнули, и я услышал, как она небрежно сказала кому-то:

– В порядке! Это будет наш кадр!

Теперь самое смешное: спектакль очень понравился! Они убрали весь модерн, весь «юморочек». Осталась притча, вечная и грустная, о Юноше и Девушке. И осталась печаль. «После любви люди и животные печальны»... Взволновало! Наверное, и потому, что никак... никак не могу отделаться от воспоминаний об этой дуре. Самое грустное: она перестала мне звонить (первое время часто мне звонила и молчала в трубку), но я делал вид, что не понимаю, насмешливо спрашивал: «Кто это?» Короче, я так раздражен этим своим волнением, что разгромил спектакль с яростным энтузиазмом. Да, «ищите женщину»!

Моя статья... Как быстро я овладел кошмарным птичьим языком рецензий! «Потребность в искусстве героического накала, больших идей и общественно значимых тем... Социально значимый герой не рождается на обочине жизни... Уменьше подменять истинную сложность жизни надуманными конфликтами (вроде пресловутого конфликта отцов и детей или порядком набивших оскомину брюзжанья и фрондерства перезрелых мальчиков – «стариков»)»...» Ну, и в заключение: «Снижение общественной значимости конфликта неизбежно ведет к снижению литературно-художественного уровня. И ярчайшее доказательство тому – обидная неудача талантливого писателя и Театра Ленинского комсомола...»

Неужели все это писал обожатель Ренара и Пруста?.. А может быть, именно поэтому я смог? С таких высот, с высот Литературы – они все одинаковы: и Д., и его антиподы. Все равны! Все пигмеи! Короче, я становлюсь фигурой: борцом! «Карфаген должен быть разрушен»...

Захотелось узнать реакцию Д. Позвонил ему, но он у нас, как всегда, в отъезде. Путешествует, пардон, – «мотается».

«196... года, 1 октября.

Позвонила завлитша. Почему-то ночью, когда все приличные люди давно спят. Сказала:

– Вы зарезали наш спектакль!

Оказывается, после моей статьи органы культуры постоянно вычеркивают спектакль из репертуара. Короче, он не идет. Впервые чувствую вещественно – силу! Силу слова...

– Поверьте, мне очень жаль, – отвечал я, «добрый старик» и «наш кадр». – Но, простите, не могу не высказывать свое мнение. Иначе искусство умрет, девушка.

Фантастическая банальность этой фразы особенно по душе.

И еще. Мне нравится современный театр! Раньше у актеров были амплуа: один играл только героев, другой – только злодеев. Но современный театр постиг сложность жизни. Никаких амплуа! Сегодня он – Иуда, подлец, трус, а завтра – герой! Идеальный герой нашего времени. Да здравствует театр!»

«196... года, 2 октября.

Произошло самое неправдоподобное. Я ей позвонил! Сам. И она (она!) швырнула трубку. Позвонил снова! То же! Звонил бешено, безостановочно! Она не подходила к телефону. Она, которая преследовала меня преданною любовью! Вымаливала свидание, как кусок хлеба! Звонила по сто раз на дню! Если я был занят – швырял трубку без лишних слов. И она звонила, звонила вновь. Она всегда была «до востребования». Ее звонок, мое слово – и она уже несется по городу. Жила она на другом конце города, и у нас была игра: я хронометрировал, за сколько времени она добиралась до моего дома после звонка. Как она была восхитительно бесстыдна и чиста в своей любви. Летели джинсы, блузка, она шагала через поверженную одежду своими точеными балетными ногами. Как металось в подушках ее детское лицо: расширенные глаза и сведенный судорогой рот.

И вот сегодня я решил с ней встретиться! Ну, просто так. Вру: был уверен, когда она меня увидит... И я ее встретил. Шла после работы. Увидела меня и... побежала! Как легко двигались ее ноги! Лань убегающая! Я бросился за ней. Она вбежала в магазин и встала в очередь. Я встал за нею. Ее дрожащие плечи, крохотные ножки в маленьких красных туфельках.

– Я не буду больше с тобой... Я не хочу.

– Будешь, будешь... еще как будешь, – бессвязно шептал

я сзади.

– Не буду! Понял! Не буду! – не оборачиваясь, с ненавистью тоже шептала она.

И вот тогда я наступил ей на ногу. С силой наступил, всей ступней. Она вскрикнула и обернулась:

– Отстань от меня! Мерзавец!

Когда я наступил на эту наивную красненькую туфельку, которую она наверняка аккуратно вычистила (у нее были только одни эти туфельки), когда она взвизгнула от боли – некрасиво, уродливо, как же я обожал ее за боль... за слезы... за наклон головки. Клянусь, через мгновение опустился бы на колени и поцеловал бы эту туфельку, бился бы головой о грязный пол! К счастью, она была всего лишь девочка с московской улицы. Его героиня. Дурища! Она не почувствовала мига. И с жалким заячьим визгом, захлебываясь слезами, она побежала. И вот тут-то я понял... Ах, что же испытывали в своих застенках славненькие ребята из инквизиции! Когда волокли на дыбу все эти голые задницы! Когда вчерашняя гордая принцесса обнимала ноги палача. Да-да, есть любовь казни: любовь палача к жертве и жертвы к палачу. Есть! Есть! Есть!

Вот этот бред, стоя на улице, шептал я сам себе! Интеллигент, любитель изящного. Как же мне хотелось догнать ее. И топтать, топтать... И я уверен: она любила бы меня! Нет, надо что-то делать. Я схожу с ума!»

«196... года, 1 ноября.

Турбаза в монастыре.

Думаю, история с этой дурой потрясла меня больше, чем хотелось. Я уехал. Я придумал путешествие к предкам».

Кстати, отличная идея: половину завтрашнего... последнего... дня я посвящу предкам. Каково название: «Воспоминания о них – перед встречей с ними»...

«Мне снился монастырь... Сколько раз я думал об этом монастыре. И вот я иду по монастырскому двору. Бреду меж стен, где когда-то была игуменьей моя прапрапра... Безглавые соборы в белой ночи... Кресты в свое время пали жертвой сбора металлолома... Я ищу монастырское кладбище. Там похоронена она – игуменья Досифея. Но кладбища нет – его удачно переоборудовали в волейбольную площадку (что делать, в монастыре теперь турбаза). У этой волейбольной площадки лежит (все, что осталось от кладбища) могильная плита из серого гранита со славненьким текстом: «Прохожий, бодрыми шагами и я гулял здесь меж гробами, читая надписи вокруг, как ты мою теперь читаешь. Намек ты этот понимаешь? Так до свиданья, милый друг». На этой плите, подстелив куртки, ждут своей очереди играть в волейбол наши славные туристы. Действительно, турист выпил, закусил – на фига ему кладбище?

Короче, монастырь из центра мракобесия превращен в центр культурного отдыха.

В угловых башнях монастырской стены устроены отдель-

ные номера – кельи «люкс» для начальства и избранных приезжих (я, как пишущий в уважаемых газетах, – избранный и, естественно, получил келью «люкс»). Но каков был мой восторг, когда я узнал, что в другой башне, естественно, тоже в келье «люкс» проживает «сам Д.», «тот самый Д.».

Ах, это вечное пушкинское: «Приятно дерзкой эпиграммой взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, упорно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится...» Как сластолюбцы любят наблюдать наутро согрешившую с ними девушку! Наверное, то же чувство – наблюдать за своими литературными жертвами. После. Но я еще не пресытился. И, едва устроившись в келье «люкс», бросился разыскивать Д.

Во дворе перед собором назревал народный бунт. Экскурсоводка с прической «вшивый домик», размахивая огромным ключом от собора, отбивалась от взволнованных туристов, каковые требовали, чтобы их незамедлительно вели осматривать часовню с приятным названием «Голгофа». Поскольку сия часовня была у них в путевках. Экскурсоводка объясняла, что «Голгофа» на ремонте – авария! Но ропот нарастал, и тогда она не выдержала и тоже заорала:

– Хорошо, записывайтесь. Но учтите, «Голгофу» – на вашу ответственность!

– Надеюсь, на «Голгофу» членов творческих союзов записывают вне очереди, – сказал сзади знакомый голос.

Ха-ха, конечно, это был Д.! В каких-то фантастических

брюках, в рубашке с иностранными надписями. Он обнимал за плечи белокурую красавицу. И так как знал, что девушка высший класс, что на нее все смотрят, обнимал ее особенно усердно.

Я подошел к Д. и поздоровался. Он радостно ответил. Но равнодушно-радостно. Мы заговорили. Он безмятежно спокоен. И я так и не понимаю, читал ли он? А может быть, это игра: он ждет, когда я «проколюсь» и сам глупо начну разговор?.. А может, это высшее презрение: дескать, настолько мне все равно, что ты там пишешь, что я даже не меняю своего отношения к тебе? А может, он просто не читал – ведь он давно уехал из Москвы?.. Во всяком случае, решил, буду также безмятежно спокоен. Подождем...»

«Я тут уже неделю. Придумал забавную игру: всю неделю разговариваю с Д. обо всем – об архитектуре монастыря, забавах в народном вкусе, которые придумал для интуристов бойкий массовик-затейник (бег интуристов с коромыслами наперегонки, еда сметаны из горшочков с завязанными глазами: «Ну, умора, рожа у него черная, а сметана белая...»). Этого массовика-затейника сделал главной темой моих разговоров с Д. Я рассказывал, как он охотится на гаг – ловко сворачивает им шейки. Как так же ловко и беспощадно расправляется с хорошенькими туристками. Сначала шутка: «Ох, сейчас задам щупача», – потом, ночью, его гибкая тень скользит в палатку. И в завершение – подарок: кошелечек из пуха убиенных птиц. Итак, я говорил обо всем, но только не

о том, что он так хотел услышать: о его творениях. О них я молчок, будто их не существовало».

«20 ноября.

Я не дождался: он не возненавидел меня. Это для меня литература – все. А он... он попросту забывает о ней, когда перестает писать. Он живет: ест, пьет, любит... И все!

Ночью я поднялся на крепостную стену и смотрел сверху на монастырь. Стоит луна, я пытаюсь представить себе игуменью Досифею, чья кровь тихонечко течет в моих жилах. Она спит у собора под волейбольным полем и слушает удары по мячу, дикие выкрики игроков и топот ног над собою. Пора уезжать. Скука...»

«197... Новый год.

Встреча с Д.

Сколько же лет мы не виделись? И как все поменялось... Ну что, «разгневанный старик», кончилось вольномыслие? А я ведь предвидел! Предупреждал! Да, задвинули тебя! Крепко! И одним из первых! Ну что ж, ты любил быть первым. И сценариев не ставят, и прозу не печатают, и уже подросли мальчишки-девочки, даже не знающие твоего имени... Ну что, страшно стареть? Все ждешь, когда переменится?... Все годишь?... И несутся, проносятся годы!

Итак, вчера, 31 декабря, в Новый, 197... год, ночью, удачно мерзко поссорившись с женой, я с восторгом хлопнул дверью. И обнаружил, что совсем не знаю, куда приткнуться.

Отправляюсь на вокзал. Наслаждаясь счастьем внезапной свободы, захожу в вокзальный ресторан. В гигантском ресторанном зале, под великолепными сталинскими мозаиками (девочки-физкультурницы: «Не спи, вставай, кудрявая!»; авиаторы в шлемах: «А вместо сердца – пламенный мотор!») уже свершилось новогоднее пиршество. Какой-то пьяный, прикрыв голову краем скатерти, храпел среди закусок, вино из опрокинутого бокала тихо лилось в его ухо. А в это время его друг в мундире железнодорожника рвался к елке, размахивая стулом. Его молча и брезгливо отталкивал метрдотель. В разноцветных огнях скакали вокруг елки страшные старики в железнодорожных мундирах, обнимая пьяненьких старух в плотных парчовых платьях. Хохот, визг, мельканье света, сморщенные лица. Шабаш! Шабаш! Во тьме зала быстро трудились официанты, аннулируя объедки на опустевших столах, – мародеры на поле битвы! Двое у стены молча обнимались, а может, дрались. За большим столом мертвецки пьяный муж остекленевшими глазами уперся в лицо пьяной жены, восседавшей напротив. Ее целовал взасос кто-то с другого столика – длинный, с оттопыренными ушами. Она бессильно запрокинула голову, подставив ему вялые губы, а он, черный, страшный, прижимал ее к себе одной рукой, а другой быстро шарил в карманах висевшего на стуле мужника на пиджака.

Вот тогда я и увидел Д... Он шагал через зал между столиками. Он шел, видимо, из ресторанного буфета с бутыл-

кой водки под мышкой. Я пошел за ним. Д. выбрался из ресторана, вошел в зал ожидания. В теплой духоте прямо на скамьях храпели транзитные пассажиры, которых застала в пути новогодняя ночь. Глядя своим быстрым волчьим взглядом, Д. шел меж скамеек к вестибюлю. Здесь, в ледяном вестибюле, под огромной мозаикой (Воин-победитель поражает гидру фашизма) сидел на деревянной коляске безногий обрубок. Д. подошел и молча передал ему бутылку. Калека также молча отхлебнул из горла и отдал бутылку обратно. Д. выпил и вновь вернул ее калеке.

И тут Д. увидел меня. Он совершенно не удивился, как будто мы договорились встретиться с ним в новогоднюю ночь в этом вокзальном аду.

– Вот отмечаем с товарищем, – усмехнулся Д. – Как зовут-то, дядя? – обратился он к калеке.

– Ах... его знает, – злобно ответил калека. – Тебе-то на что?

– Ты прав. Действительно, на что?

Потом мы шли в новогодней метели... Я все ждал, предвкушая, когда он заговорит о моих статьях. Но Д. уже упоенно рассказывал, рассказывал... И как всегда – о себе:

– Моя любимая (актриса Л.) привезла из Франции офорт Шагала! С его дарственной надписью! Представляешь, меня такое зло взяло! Ну чем я хуже? И тогда я взял и на всех своих книгах тоже написал дарственные. Например: «Д. – от Толстого Льва с глубоким уважением». Или: «Д., Певцу люб-

ви – старик Тургенев». Целый день трудился... Ха-ха-ха! А ночью выпить захотелось. И ничего нет! И я выпил все ее французские духи. Ну, она базарить – и ушла к матери. Я вышел на улицу. И представляешь, тут же на улице, у дома, знакомлюсь с какой-то чувихой. Такая чува! Утром она уходит от меня и говорит в дверях: «Я тебе позвоню». Я диктую телефон, она записывает. А потом... так помедлив-помедлив... и спрашивает: «А кого... позвать?» Я называюсь. И уже ее спрашиваю: «А кто мне позвонит?» И знаешь, старик, она вдруг всплеснула руками и так замечательно воскликнула: «Ужас!»

Всего-то слов! А в них любовь, ночь, страсть – и такое одиночество!

Он стоял в зимней метели, вокруг дружинники жгли новогодние елки, конфискованные у частных торговцев. Он стоял на фоне этого пожара. Он очень постарел: мешки под глазами, лицо опало, обрюзгло. Он поймал мой взгляд и сказал, указывая на свои мешки под глазами и уродливый носатый профиль:

– Ахилл с перепоею. Ха-ха! – И вдруг схватил меня за пальто. – Нет сюжета. Понимаешь, нужен сюжет. Дай сюжет про любовь – и я мир переверну. Я так напишу... У тебя не найдется десятки?

Он взял мою десятку и сказал:

– На днях пытался писать. Палата. В палате девять абортчиков. А рядом другая палата – там лежат бездетные на оче-

редном сохранении. И вот обе палаты встречаются в одной столовой и ненавидят друг друга. Эти, которые «на сохранении», в бешенстве смотрят на животы абортчек, начиненные детьми. А те с вожделием думают, как хорошо их не иметь... Эти хотят кушать, а тех от еды тошнит. И их разговоры. Представляешь? Нет, не то! Все – не то! Дай мне историю про любовь!.. Таксер! Таксер!

Мимо проезжало свободное такси. Д. бросился – прямо под машину. Мальчик-таксист резко затормозил, выругался. И, высунувшись в окно, плюнул ему в лицо. И уехал. Д. вытер лицо и сказал мягко:

– Устал парнишка.

Что делать: Д. когда-то был певец молодежи. И он должен был ее любить... Несмотря ни на что – любить... Даже сейчас – любить».

Час дня. А я все играю: Д. мертвый – «Его поминки» и Д. живой – «Встреча в ЦДЛ». А вот опять: «День поминок». Как много я записал в тот долгий день!

«Звонок телефона. Подхожу. Молчат. Это, конечно, опять актриса Л., «великая любовь Д.» (сколько их было, его Любовей, но всегда, всегда он возвращался к ней).

Хриплое дыхание в трубке. Потом пьяный вопль:

– Он даже не завещал мне своего пепла! Я тебе русским языком говорю: он не хочет стоять на моем подоконнике! Он

был эгоист. Пусть! Пусть его закопают, чудака. Скажи ему, что я...

Актриса Л. уже совсем, совсем пьяна. Впрочем, теперь она всегда пьяна. А всего двадцать лет назад... Всего двадцать лет назад – какова фраза! Всего двадцать лет назад я был при начале великой любви...

Белоснежная «Волга» на Ленинских горах, за рулем его друг. Друг, конечно, знаменитый футболист. Футболисты, хоккеисты, артисты... его друзья – субботные герои. Рядом с другом я. Сзади Д. и она. Д. только что познакомился с нею. Оба прекрасно пьяны, оба молоды всего за двадцать лет до того, как над столом повиснут его ботинки, а она превратится в спившуюся старуху, блюющую сейчас у телефона. Но они этого не знают... И прелестная девочка-женщина в безумии быстрыми сухими губами водит по его груди. И рука Д. содрогается в копне золотых волос. Они не стесняются, чудная девочка-женщина с маленькими узкими бедрами и высокой грудью и великолепный Д., удачливый, молодой, талантливый... Ах, какая вы пара! В машине сидеть невозможно. Сплошное электричество. И мы со спортсменом вылезаем из «Волги». И я знаю, как швырнуло их друг к другу. Они думают, что это весело? Но они не знают, что это навсегда. Никогда не оторветесь вы друг от друга. Пока не убьете друг друга!

И сейчас, когда его рука освобождает из платья ее маленькое тело, а она быстро перебирает губами по его груди, о если

бы они увидели в переднем зеркальце – страшные ботинки над столом и алкоголичку с испитым лицом старухи... А пока – наслаждайтесь, наслаждайтесь, милые, своими телами. Столь быстро проходящими телами. Ах, как быстро проходящими телами».

Бросаю листочек... Он кружит над ковром... Падает... Выдергиваю новый, точнее, нахожу: живой Д. стоит со мной в той новогодней метели.

«197... года, 1 января.

Среди горящих елок.

– Мы – бесы, – говорит он мне. – То, чего боялся Федор Михайлович, свершилось.

Но и это я где-то тоже слышал. Я все слышал: возраст!

– Однажды перед майскими праздниками, – продолжает Д., – вышел я из пивной и упал лицом прямо на мостовую. Но все-таки встал. Иду. И вдруг так захотелось к друзьям. Пошел. И пришел в кооперативный киношный дом, весь наполненный моими друзьями-бесами. Звоню в квартиру главному другу. Открывает. Смотрит на меня почему-то в ужасе и так торопливо-торопливо: «Как же ты не вовремя, мы как раз уходим!» Короче, я обошел все квартиры друзей своих, и всюду было одно и то же: сначала смотрит на меня, потом ужас. И не пускают! В чем дело, думаю? Неужели у меня физиономия такая подлая стала? Выхожу на улицу, иду к витрине шляпного магазина, гляжусь в зеркало. И вижу: Боже,

что с лицом? Оно в крови. Провожу пальцем по щеке... И хохочу как безумный. Когда я упал у пивной, измазался красной краской. Ха-ха! Понимаешь, на асфальте красные линии были проведены к Первому мая. Разделительные линии для демонстрации. И друзья мои, тихие бесенята, испугались вида крови моей, – он уже шептал. – А если это была искупительная кровь? А если я нес на своем лице им, любителям Достоевского, кровь-жертву? А они захлопнули передо мной двери, сукины бесы? Наш двадцатый век, – он хохотал, пьянея на глазах, – это история о бытовой химии. О заменителях крови, о заменителях друзей и заменителях чертей. Только любовь! Любовь спасет! Придумай мне сюжет про любовь. Я напишу. Я могу. А представляешь, как бы я мог написать этот эпизод? Выхожу пьяный, блюю на мостовую, рвота висит на подбородке, как у собаки. Делаю шаг, бедная моя голова винтом вращается, и я рушусь на землю. И щекой соприкасаюсь... но не с травой, не с землею – с асфальтом. И поднимаюсь с этого заменителя земли с заменителем крови на лице, и несу этот пылающий свет на лице – как мольбу о любви – к заменителям друзей. И они... захлопывают передо мною двери!

Он повис на моей руке, пьяно выворачивал ее и визгливо кричал:

– Ну, чем ты ответишь на такой рассказ? Дашь червончик, бес говенный? Только бы я ушел? Да, я пьяный. стакан – и из такой тоски в такое: «Все могу! Все дозволено! Свобо-

ден, Господи!» А потом nirvana наша всероссийская: лежу в луже, щека елозит по грязи, – а смех раздирает, подлинный смех! Как не хватает нам смеха. Вы все обожаете патетику. Вся ваша литература – сплошная патетика! Львы Толстые, эпопеи проклятые! Даже Гоголь тосковал в своем смехе и рвался к патетике! Как он отдыхал душой, когда писал все эти «Руси-тройки». Вот тогда-то он и считал себя классиком. А от смеха своего с ума сошел. Нет, смеяться у нас умеют только пьяные и дурачки. А трезвые мы все полны благородного негодования. С этим негодованием на челе на плаху идем и друзей предаем. С одним и тем же «благородным негодованием». Вот почему я вас трезвых боюсь – нена-ви-жу! А десятка твоя – дерьмо. Мне миллионом не заплатишь. Мне сюжет взамен дай. Я тебе рассказал про палату, падла? Дай в ответ. Дай, Христа ради, дай мне сюжет про любовь. И я такое напишу – все спасено будет, – он плакал. – Все дело в ауре, понимаешь. В ауре. Нынче нет любви».

Однако половина второго. Все! Заканчивать надо чтение.

«197... года, апрель.

Д. пришел ко мне утром. Без звонка по телефону. Позвонил сразу в дверь. Такая у него теперь пьяная привычка: напьется и приходит.

Но сегодня Д. трезвый. Удивительно! Глядит насмешливо... И абсолютно прежним тончиком:

– Ах, какой у тебя халат! Георгины на заднице!

Все это он произносит в дверях. Я не предлагаю ему войти, он сам входит. Снимает свое страшное вытертое кожаное пальто... Идет в комнату, оставляет следы грязных ботинок... Усаживается в кресле. И ставит рядом портфель. Тот самый, из которого когда-то, Бог знает сколько лет назад, он вынул мне журнал «Юность». Кивает на портфель:

– Вот, повесть написал...

Замолкает. Тут я, видать, должен всплеснуть руками. И, подыхая от счастья, просить почитать «повестуху»... Да, так было когда-то – тысячу лет назад, «разгневанный старик», так было в твоё время! Но теперь – моё время!

Он открывает свой странный нынче, допотопный портфель. И вынимает толстенную рукопись. И кладет сей плод торжественно предо мною.

Ему даже в голову не приходит спросить; а может, «доброму старику» неинтересно читать или он занят, наш «добрый старик».

– Это повесть о том, – Д. засмеялся, – как я удавился... А вы, друзья мои, собрались на мои поминки. И в мою честь придумываете рассказы о любви. Кто как может... Короче, это «Декамерон». Только «Декамерон» в мою честь... В честь Д. «Де-Декамерон».

Он остановился. Видимо, здесь я должен был всплеснуть руками, восхититься сюжетом и т. д., и т. п. Я молчал.

– Понимаешь... В журнале все новые: либо гнусные людишки, либо незнакомые... Ты один можешь помочь... Ко-

гда тебе позвонить?

Мне надоел этот инфантильный безапелляционный тон!

Короче, я молча киваю на грудку рукописей на моем столе:

– Все это, старик, я должен прочесть к понедельнику. К понедельнику также я должен сдать свою статью – раз...

И вот тут я останавливаюсь, широко улыбаюсь, ослепительно улыбаюсь. И спрашиваю:

– Кстати, ты хоть почитываешь мои статьи?

Страдание! Ах, какое страдание на его лице. Пытается со-
срвать: жизнь хоть чему-то тебя научила! Наконец мямлит:

– Я... не выписываю газет. Только «Советский спорт».

Нет, ничему не научила тебя жизнь.

– А зачем тебе тогда мое мнение? Ну да, ты уже объяснил:
больше некого попросить!.. Но ты хоть знаешь, например,
что я написал... и о тебе?

Он весело засмеялся, кивнул:

– А как же! Сообщили. Я жил тогда... А! Ну да, мы с то-
бой тогда там были оба, в монастыре... Представляешь, они
там меня нашли! Что-что, а о неприятностях у нас всегда со-
общат вовремя!

– Ну и как?

– Что? Я... не прочел. Обо мне тогда столько писали... И
я читал только хорошее!.. – Он опять захохотал. – Старик,
я люблю, когда хвалят. Нет, я знаю: ты хороший критик. Л.
очень возносила твою статью... кажется, про МХАТ, да?

От такого комплимента я... Но сдержался. Более того,

я попросил передать сердечнейший привет Л., этой ныне спившейся дурище и шлюхе. И прибавил ласково:

– Ну что ж, хорошо, позвони мне... недели через две.

Излишне говорить, я прочел все тотчас, как только он ушел. Запоем.

«Повестуха» имела целых два эпиграфа. Приведу первый:

«Представьте себе огромную ручищу. Мохнатую лапу...

Все наши литературные отцы подходили и взасос ее целовали... Чего хотел я? Делать то же самое. Но более квалифицированно».

И все в таком же духе, прежний, прежний Д.! Короче: я прочел — и мне *не понравилось!*»

«12 мая.

Пришел Д., конечно, опять без звонка, но опять трезвый. Сидел тихий, со страшным своим животом. В жутких, негнущихся, уродливых и опять грязных ботинках.

Сначала поговорили о том о сем. Он увидел на моем столе Сенеку, «Письма к Луцилию» (потихоньку положил, когда он вошел):

– Всю жизнь хотел написать о Нероне...

– Эж всех вас тянет о Нероне! Не меньше! С «усатым» все счета сводите? Аллюзии! Но это от необразованности... А самая для нас современная фигура в то время – Анней Серен, знакомец Нерона и любимый родственник Сенеки. Они обменивались с Сенекой длинными утонченными письмами. В письмах этих Серен – совершеннейший Байрон, римский

«лишний человек», разочарованный, страдающий – меланхолик, погруженный в депрессию! Он все время на грани самоубийства. И в это же время Серен предоставлял Нерону свой дом для тайных свиданий с любовницей. И пока Нерон забавлялся в его комнатах, Серен писал в прихожей утонченные письма к Сенеке. Кстати, закончил жизнь наш Гамлет, как многие меланхолики-либералы, начальником римской полиции! А умер этот Чайльд Гарольд, отравившись грибами с милым названием свинухи. Но все равно, – я постучал по книжке, – писали эти древние здорово!

Вот так уничтожив его последним замечанием, я придвинул к себе наконец его рукопись. Сделал суровое лицо, показывая, что перехожу к святой святых – литературе.

Самое смешное: он не засмеялся! С его-то чувством юмора! Нет, я не прав, все-таки он изменился. Я начал:

– Ну, насчет целующих мохнатую лапу, то бишь ручку-с... Ну, во-первых, далеко не все ее целовали. А многие и очень многие совсем не целовали... А тем, кто собирался или собирается этим заняться, – не советую руководствоваться твоим эпитафием. Ручку не целуют квалифицированно, ее целуют искренне... Больше чувства да поклон пониже – вот и вся квалификация! Так что твой совет неточен, да... Это – раз, что же касается содержания рукописи...

Я аккуратно перелистал странички, исчерканные моим карандашом. На полях – редкие плюсики («Славно!») и огромные частые минусы.

– Ну, надеюсь, ты серьезно не предполагаешь, что в нашем журнале ее напечатают?

Здесь я остановился. Он почему-то радостно кивнул. Я опять сделал «но сурово брови мы насупим».

– Но допустим: если бы! *Если бы вдруг* и напечатали... – Я помолчал. – Ты действительно хочешь правду?

Опять он кивнул: что ему оставалось!

– Ну что ж, – продолжал я. – Тогда слушай! У тебя есть имя. И главное, вокруг имени легенда. Дескать, ты можешь, а тебе не дают!.. ореол шестидесятых. Если тебя напечатают, старик, эта легенда закончится. Навсегда. – Я опять (уже совсем небрежно) перебрал его листики. – Это все литература... прошлого десятилетия. Да, забавно! Да, эпатаж! Но так писатели серьезные нынче не пишут...

Здесь он как-то очень обаятельно улыбнулся. Не могу понять значения этой улыбки. Она меня мучает...

Д. поднялся.

– Ты забыл рукопись, – сказал я.

Он усмехнулся:

– Ах... с ней!

– Может, хотя бы один эпитафия убережешь?..

– Сам убери. Разрешаю! – засмеялся он злобно, бешено. (Прежний, прежний Д.!) И добавил, вставая: – Дай червончик, а?

Все-таки унизил. Самое смешное – я дал.

И проводил его до дверей.

«Дурачок... И чего материшься! Недоволен временем? Ты же плод его... Бездарности нужна запретность... Нет, конечно, ты не бездарность, но все равно махонький... талант, превращенный в личность. Чем? Нашими дурацкими запретами. Запретами тебя, как насосом, надули. Так что молись на запреты... Благословляй время... Ты не представляешь, как тебе сейчас хорошо, у тебя ведь есть надежда: вот распретят, и уж тогда-то я покажу!.. А если действительно завтра все распретят? Ты сразу все это потеряешь... Потому что, боюсь, сейчас ты конченный! Сейчас ты уже ничего не можешь! Ты попросту спился! Атогда придут другие... Которые могут! Которые презирать тебя будут! За немочь! А ты? Вопить в ответ бессильно будешь: «Сволочи! Вам теперь все можно! Вам-то легко! А в мое время...» И знаешь, о чем ты тогда мечтать начнешь? Скоро начнешь! Чтобы опять... Запрещали! Ты без запретов уже не сможешь, пойми!»

Все это я произнес, естественно, про себя. И молча открыл ему входную дверь. И он побежал вниз по лестнице.

Я часто вспоминаю, как он бежал. Вниз, вниз по лестнице через оставшийся год – к тому столу...

После его смерти я придумал забавный рассказ. И конечно, не записал его. Времени не хватило. Краткое содержание: «Некто обижает меня.

Он отобрал у меня все: славу, любимую женщину.

И даже мое изобретение – машину времени.

Я никогда не видел его, но ненавижу всю жизнь.

И я решаюсь – убить его.

Я проникаю в дом, где он живет.

Но откуда-то он уже узнал обо мне.

И он убегает...

Я преследую его по дому. Я все время слышу его шаги.

И по-прежнему – не вижу, не вижу его...

Наконец я загоняю его на чердак.

Я приникаю ухом к двери.

И слышу, слышу: там, за дверью, – хриплое дыхание, его дыхание! Я вынимаю револьвер.

Но тут дверь чердака сама растворяется...

Я вбегаю – и никого.

Только на пьедестале в тусклом свете окошка стоит моя машина времени.

Я подхожу к ней – и тут же слышу стук захлопнувшейся двери. Я бросаюсь обратно и... но дверь уже заперта с той стороны.

И опять – он. Он дышит там, за дверью.

Я опять осторожно вынимаю револьвер.

И слышу шорох: это он приник ухом к двери.

И тогда я стреляю туда, где должно быть это проклятое ухо.

И тотчас слышу жуткий знакомый крик за дверью.

Ужасная боль пронзает меня...

И, уже падая, я вижу часы: они показывают на полчаса назад.

И последняя мысль в моем гаснущем мозгу:

«Я прошел сквозь машину времени – значит, я вошел в прошлые полчаса».

А это значит: тот, кого я убил за дверью, – я сам...»

Я смотрю на гору листков на полу.

До свидания, Д.!

Жил-был Д.! Его не печатали. Он болел, он пил, и жена его тоже спилась. У него не было денег. И он покончил с собой. Ну и что тут удивительного? Разве одно: почему он раньше этого не сделал? А вот когда у тебя *всё* есть: деньги, власть, когда *всё* твое печатают, когда ты здоров, а твои бабы... И тем не менее: «Давно, усталый раб, замыслил я побег в обитель тайную трудов и чистых нег».

А между тем два часа дня. Звонит телефон, звонит проклятый.

Что, если принять высокомерное решение: прожить (дожить) эти оставшиеся два дня как самые заурядные? То есть жить, как всегда. И записать все, что произойдет, как исповедь убежавшего из тюрьмы узника, для оставшихся дураков? Каков бунтик!

Итак, звонят? Что ж, подойти к телефону?

– Алло!

Конечно, это он – Лысый и Отвратительный. Его так не хватало, «подводя итоги».

Друг моей юности. На протяжении целой четверти столетия мы треплемся с ним по телефону. В девятнадцатом ве-

ке при такой тяге самовыражаться написали бы друг дружке кучу писем, как все эти подозрительные болтуны пушкинской поры. Горы банальностей именовались бы нашим эпистолярным наследием. Но, к счастью, с изобретением телефонов словоблудие исчезнет в воздухе!

Да, двадцать пять лет трепотни! Первую половину этого срока мы болтали о бабах и литературе. Вторую половину болтаем наоборот.

Он теперь знаменитый кинорежиссер, женатый на другой знаменитости – раскрасавице-суперзвезде нашего кино. Повторяю: я знаю его с юности. В ту пору, завидев любую юбку, он опрометью бросался ей вослед.

Не могу сказать, что это вызывало восторг у предметов его внезапной страсти. Ну, если бы к вам на улице подвалил неандерталец: срезанный лысый череп, тяжелая волевая челюсть, зубы вперед – фа-фэ! Короче, природа застала моего друга в волнующий миг превращения обезьяны в человека. Наверное, поэтому у Лысого и Отвратительного всегда была такая страсть к совокуплению. «Сплю со всем, что шевелится» – его институтский лозунг.

Сейчас этот интеллигент снимает фильм о смерти Тургенева. Как у всех неандертальцев, у него любовь к умным темам. Естественно, его жена, она же суперзвезда, играет там бедняжку Виардо. Она всегда играет главные роли во всех его фильмах. И как ей не надоест!

Свой первый известный фильм он снял по ранней повести

нашего друга Д. «Поезд». Вот там-то, на тех съемках, он и встретил суперзвезду («Мы переспали на «Поезде»...). После чего они создали популярную супружескую пару. Кстати, в том своем фильме Лысый и Отвратительный снял ее голдой, чтобы весь Союз оценил его приобретение. Но, к сожалению, именно тогда наступил финал нашей славной «оттепели». Бедолагу Д. «задвинули», «Поезд», естественно, тоже «положили на полку». Благодаря чему этот фильм... стал знаменитым. И до сих пор считается. Все хвалят, но никто не видел. Как сказал один пошляк: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью...» Вообще о фильмах Отвратительного спорят, пишут, но я постарался не увидеть ни одного. Что делать, не могу относиться к нему серьезно: все время кажется, что по ночам он тайно взбирается на ветку и жрет бананы. И только после этого сваливается на кровать к раскрасавице-суперзвезде.

Как всегда, начинаем с литературы.

Он: Послушай, знаешь ли ты такого поэта – Г.?

Я: А кто ж его не знает!

Он: Я, например.

Я: Очаровательная была личность. Абсолютный Пиросмани. Как и положено истинному поэту, он долго был в неизвестности. И тогда он начал печатать себя сам. На машинке. Он придумал даже термин – «Самсебяиздат». Впоследствии его переделали в «Самиздат», и он приобрел значение, о котором поэт, естественно, не думал. Я мало когда видел его

трезвым. Он часто делал «буль-буль», как он сам говорил. Вообще он любил глаголы. Например, купаться он называл «плюх-плюх». Лучшее его стихотворение:

Я на мир взираю из-под столика.
Век двадцатый – век необычайный,
Очень интересный для историков,
Но для современников печальный.

Кстати, пардон, по-моему, это не его... Или его?.. Черт знает что с памятью! Такое количество мусора... Помню, как однажды они пили с Д. и все пропили. Но так как жажда не проходила, Д. сделал жест, достойный поэта: вошел в контору жэка, снял со стены портреты вождей и понес их продавать на Птичий рынок.

– Блеск! – говорит интеллигент-неандерталец. – Знаешь, последнее время я часто думаю о Д.

– Я тоже. Хотелось бы свидеться...

– Не понял?

– Ну, с Д., естественно.

Наступает тишина. Я весело смеюсь и продолжаю:

– Кстати, у Г. висела забавная фотография. На ней сидят на раскладушке Д. и Г., видать, в самом омархайяжнейшем настроении. А под раскладушкой бутылки, бутылки. И надпись: «От Г. – Д. Когда я буду умирать, а умирать я точно буду, не позабудь, пожалуйста, сдать за мной порожнюю посуду».

– А он... что... умер?

– Обижаешь. Ну, может ли жить такой культурный человек, как Г.? Давно нырнул под землю. Когда у него обнаружили рак, он так развеселился. Сказал: «Рак есть, а пиво будет?» Нет, пардон, это сказал другой мудрец...

– Ты культурный человек. Я люблю с тобой поговорить... Я тебя не задерживаю? Я хочу, чтобы ты поглядел мою декорацию квартиры Тургенева.

– Я... улетаю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.